

**АНДРЕЙ  
ДМИТРИЕВ**

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ  
«РУССКИЙ БУКЕР»

дорога  
обратно



# Андрей Дмитриев

## Дорога обратно

### *Серия «Собрание произведений»*

«Свод сочинений Андрея Дмитриева — многоплановое и стройное, внутренне единое повествование о том, что происходило с нами и нашей страной как в последние тридцать лет, так и раньше — от революции до позднесоветской эры, почитавшей себя вечной. Разноликие герои Дмитриева — интеллектуалы и работяги, столичные жители и провинциалы, старики и неоперившиеся юнцы — ищут, находят, теряют и снова ищут главную жизненную ценность — свободу, без которой всякое чувство оборачивается унылым муляжом. Проза Дмитриева свободна, а потому его рассказы, повести, романы неоспоримо доказывают: сегодня, как и прежде, реальны и чувство принадлежности истории (ответственности за нее), и поэзия, и любовь» (*Андрей Немзер*)

В первую книгу Собрания произведений Андрея Дмитриева вошли рассказы «Штиль», «Шаги», «Пролетарий Елистратов», повести «Воскобоев и Елизавета» и «Поворот реки», а также романы «Закрытая книга» и «Дорога обратно». Роман «Закрытая книга» удостоен премии имени Аполлона Григорьева (2001).

ШТИЛЬ

*Рассказ*

Если всерьез, это был самый никудышный сад в округе. Крыжовник и смородина осыпались, не успевая созреть. Четыре яблоньки, искромсанные садовыми ножницами, роняли плоды с крахмальным привкусом. Флоксы вяли. Посреди дорожки росло и чахло совершенно бесполезное укусное дерево, напоминающее папоротник или пальму. Но вот чего там было вдоволь, и самого лучшего качества, так это малины, пересаженной с местного кладбища хозяином сада, полковником в отставке.

Едва уйдя на заслуженный отдых, полковник разругался со своими непослушными детьми и решил поселиться здесь, на побережье, в гордом и здоровом одиночестве.

Он любил порассуждать о целебной мощи морского воздуха, о своем нешуточном намерении прожить до ста сорока лет, о выдающейся культуре быта местного населения, но охотнее всего — о неблагодарности и нахальстве послевоенной молодежи, которой, по его убеждению, все далось даром и все пошло не впрок. Но как только подходило лето, к простреленному горлу полковника подступала жаркая ненависть к мелкому морю, сонному быту, а главное — к нерусской речи местного населения.

Июньскими ночами полковника поедом ела бессонница. Лунный свет сочился сквозь ситцевые занавески, стекал в глаза, наполняя душу холодом и тревогой. В одном исподнем полковник выбегал в сад, недобро скалясь на луну, кромсал садовыми ножницами яблоневые ветви и ругался при этом так, что, услышь его солдаты, с которыми он бок о бок шел и коротко прощался на полях России, — и те встали бы из могил. И однажды утром, наспех собравшись, уезжал в Ленинград к своим уже стареющим детям с единственной, как он уверял себя, целью: пробрать этих недоумков за неблагодарность и нахальство, — да так и оседал в их кругу до самой осени. Надо полагать, он любил своих детей. Всегда горько предчувствуя, что застрянет у них до холодов, полковник, уезжая, сдавал дом и сад двум молодым москвичкам за смехотворно низкую плату. Вдобавок он позволял объедать им все, что можно объесть в саду, и безвозмездно пользоваться любым домашним инвентарем.

Приближаясь к Ленинграду, поезд ускорял ход и, казалось, сам дрожал от нетерпения. Глядя в окно на бесконечный мелкий ельник, полковник продумывал детали своей воспитательной миссии и, заранее сомневаясь в ней, больше смерти боялся, что дети не встретят его, но такого не случилось ни разу.

Каждое утро, если не было дождя, я, направляясь к почте, останавливался у зеленой калитки, рвал малину, проросшую сквозь штaketник, и разглядывал полуголые, оцепеневшие под лучами солнца фигуры двух женщин, тщетно стараясь угадать выражения их лиц или дожидаться хотя бы малейшего движения. Меня завораживала их долгая, мертвая, едва ли не нарочитая неподвижность. Насколько движение, жест, тем более смех выдают характер и настроение, настолько неподвижность прячет все — но зато позволяет строить любые догадки.

\* \* \*

Каждое утро, если не было дождя, Тамара и Настя загорали в саду, неподвижно сидя в брезентовых складных креслах. Маленькая, кругленькая, некрасивая — это Настя. Тамара — высокая, худая в плечах, широкая в бедрах и тоже некрасивая. В отличие от Насти, готовой смириться с любым внешним изъяном, как и вообще с любой оплошностью судьбы, Тамара убеждена, что женщина хороша собой настолько, насколько сама верит в свою привлекательность. И в этом Тамара, вероятно, права. Едва взглянув на нее, любой скажет: «А ничего, даже очень ничего»; потом, конечно, приглядится и вздохнет: «Э, нет, более чем так себе»; но зато когда узнает Тамару поближе, то, устыдившись столь поверхностного пренебрежения, найдет самую подходящую оценку: «Очень хороший человек. Глаза выдают хорошего человека». Оценка точная, но глаза тут ни при чем: они ничего не выдают, ничего не выражают, кроме сонливости, они полузакрыты, неподвижны, и поначалу легко принять эту сонливость за высокомерие.

Вот у Насти другие глаза. Распахнутые, они порхают с предмета на предмет и, подобно пчеле, высасывают, вбирают в себя всю его суть.

Глаза Тамары до того устают за год, что им просто необходимо месяца два побыть в полузакрытом, сонном состоянии. Тамара — машинистка-надомница, и у нее очень много клиентов. Их круг с каждым годом становится все шире благодаря тому, что она охотно берется за самую срочную работу, то есть не спит ночами, отстукивая в сумасшедшем темпе дипломные работы студентов, краснеющих, когда нужно платить, пьесы драматургов — эти говорят ей «милочка» и, жеманясь, просят о разных странностях, будь то особый размер полей и отступов или

неуместная разрядка. Многоопытная Тамара угадывает в этом не прихоть, но суеверие.

А еще — бесконечные таблицы и проекты, где все написанное словами звучит как-то безграмотно и не по-русски, а цифры непонятны и скучны. Вообще-то Тамара старается не вникать в содержание того, что перепечатывает: это мешает ритмичной и быстрой работе, от которой глаза устают настолько, что кажутся чужими, а пальцы при ударах покалывает так, словно под кожу попало мелкое стеклышко, засело там и ранит. От излишка работы Тамара отказаться не в силах, питая самые добрые, даже трогательные чувства к своим клиентам, «все понимает» и оттого весь год не знает отдыха, недосыпает, умирает от головной боли.

Обычно под утро, когда начинает нестерпимо ныть спина, Тамара откидывается на жесткую спинку стула и, ненадолго расслабляясь, думает о лете. Райский сад, как светлое облако, встает перед глазами, и растет в том саду удивительное укусное дерево, так похожее на пальму или на первобытный папоротник. С глухим стуком падают яблоки на мягкую землю. Душны и непролазны заросли малины у забора. Пахнет мокрой травой и раздавленной смородиной. Подруга Настя напевает песенку, услышанную по радио, поливает увядшие флоксы и готовит тесто для пирога.

В Москве подружки до того заняты, что встречаются лишь по праздникам, а во все прочие дни обмениваются телефонными звонками. Чаше звонит Настя, у нее нет постоянного телефона, да и дома она почти не живет. Настя работает нянькой, она хорошая нянька, добросовестная, но, на свою беду, слишком привязывается к подопечным — болезненно как-то, почти до слез — и, кроме того, ревнует их к родителям, не умея этого скрыть. Поэтому все родители стремятся рассчитать ее как можно скорее, не называя, понятно, главной причины, но придумывая различные доказательства того, что Настя не справляется со своими обязанностями. Она не спорит, она верит, потому что привыкла верить всем, кого уважает, и все более убеждает себя в своем несовершенстве. Меняет семьи, детей, плачет, когда выгоняют, плачет, когда устает, а устает она всегда, поскольку, подобно многим нынешним нянькам, одновременно работает в двух-трех местах. Хватало бы сил и времени — она работала бы в четырех, лишь бы скопить побольше свободных денег. Ей очень нужны свободные деньги на лето, чтобы тратить их без оглядки, когда поедет она с Тамарой на побережье, поселится в доме, к которому

так привыкла, в райском саду, который так хорошо шумит по ночам. Если ночь ясна и с моря дует тихий ветер, сад глухо бормочет, а потом вдруг заворчит и затихнет, совсем как набегавшийся за день ребенок, которому снятся пестрые, беспокойные сны. А если ночь наполнена дождем, сад звенит, как тугая струна, на одной гулкой ноте, не дает спать, но это добрая, блаженная бессонница, потому что до самого утра можно думать о хорошем: о той неведомой семье, куда она, Настя, войдет как родная, навсегда, на одних правах с родителями, или о том, как у нее самой народятся дети, неизвестно и не важно — от кого (даже в самых доверчивых мечтах Настя не допускает, что найдется тот, кто возьмет ее, такую несовершенную, замуж). К утру дождь выдыхается и душа устает, можно заснуть до обеда, смутно слыша сквозь сон скрип половиц и мягкие, тяжкие шаги Тамары, ее кашель: подруга никак не может бросить курить, хотя и пугается собственного кашля.

Соблюдая приличия, я не простаивал у калитки подолгу, шел своей дорогой и до самого обеда совершенно не беспокоился о Тамаре и Насте, уверенный, что стоит мне захотеть — и я увижу их на пляже.

\* \* \*

Едва окунувшись, они опрومتью выскакивали из зеленоватой мелкой воды и, согреваясь, бежали наперегонки. Настя бегала легко и дышала размеренно, а Тамара отставала, охала, захлебывалась свежим ветром или громко жаловалась на «проклятую старость». Обсохнув, они падали на одеяло и, задремывая на нежарком солнце, часами лежали без движения, изредка и безо всякого любопытства оглядывая малолюдный берег.

Когда настоявшееся за день тепло уходило в песок, а море обретало цвет раскаленного железа, на берегу, далеко-далеко, появлялась фигура человека, шагающего вдоль линии прибоя. Воздух густел и застывал в ожидании близкого заката, фигурка неумолимо приближалась, и наступал тот миг, когда Владимир Иванович опускался на песок рядом с подругами. Расшнуровывая ботинки, он спрашивал:

— Ну? Как вы жили все эти годы? — И это было каждодневным приветствием.

Владимир Иванович всегда проводил отпуск в одном из местных пансионатов. Пропустив после обеда две-три кружки пива и поборов пагубное желание вздремнуть, он совершал

долгий путь по берегу, считая шаги и никогда не сбиваясь счета.

Он опускался на песок, порядком устав, проголодавшись, и, снисходительно болтая с Тамарой и Настей, терпеливо ждал приглашения вместе поужинать. Когда наступал закат, его наконец приглашали, и он соглашался, неубедительно сетуя, что неудержимая любовь к пирогу с малиной вынуждает его быть надоедливым. Поедая пирог, он шутиливо упрекал хозяйку за отсутствие выпивки на столе и пил много крепкого чая.

Близилась полночь, обрывались и терялись нити разговора, подруги кутались в платки — Владимир Иванович шел на последнюю электричку, засыпая на ходу, слушая ветер и думая о погоде на завтра. Вот и все. Чем живет он весь год, вдалеке от моря и покоя, там, где некогда считать шаги, где не поспишь от грохота пишущих машинок, звонков телефонов, топота ног и визга капризных детей, — этого Тамара и Настя не знали да и не пытались узнать. Поговорить Владимир Иванович любил, но говорить о себе ему было неинтересно. Благодаря именно этой столь редкой черте он никогда не раздражал подруг своим присутствием. Очевидным и достаточным для них было то, что Владимир Иванович немного циник, но добряк, ничуть не стыдится своей плечи и пристрастия к спиртному, что человек он бывалый, много поездивший и много поживший, хотя не вполне ясно было, где поездивший и как поживший. Более всего их привлекало то, что ему от них ничего не надо. Он не напрашивался даже на дружбу. О флирте, о намеках известного свойства и говорить не приходится. Владимир Иванович всегда шутилив, печален и далек. Он был приятным собеседником, привычным завершением дня. И они для него были приятные собеседницы, вошедшие в привычку. К тому же он умел каждый раз по-новому похвалить пирог с малиной.

Однажды Тамара призналась, что мечтает завести в Москве умного зверя, овчарку или пуделя, поскольку человеку в Москве трудно без зверя, человек в Москве одинок.

— Собака в Москве давно не зверь, — возразил Владимир Иванович. — Так, нечто среднее между человеком и мебелью.

— Ну знаете ли! — возмутилась Тамара.

— Знаю, знаю, — закивал Владимир Иванович. — Нечто среднее. Вот как я для вас. Или как вы для меня. И не



обижайтесь, не стоит. Это не так уж плохо.

Тамара и Настя не обиделись, но меж собой стали звать его Нечто среднее.

— Что-то Нечто среднее нынче был невесел, — говорила Тамара, укладываясь спать.

— Пиво за обедом было несвежее, — говорила Настя.

И обе смеялись.

\* \* \*

Чувствуя, как остывает песок, Владимир Иванович переворачивался со спины на бок и спрашивал:

— Ну и как? Будет рейс на Стокгольм или отменили?

— Посмотрим, — говорила Тамара.

— Будет, — говорила Настя.

Замолкнув, они напряженно глядели в пустое небо.

Наконец в небе появлялась белая точка. Медленно и упорно она ползла в сторону моря. Стоило сощурить глаза — и точка становилась крестиком. На невидимой прозрачной нити крестик тянул за собой белый рыхлый хвост.

— Млечный Путь, — говорила Тамара.

— Инверсионная линия, — поправлял всезнающий Владимир Иванович.

— На кефир похоже, — говорила Настя.

Пересекая море, хвост подползал к горизонту.

— И на что он вам сдался, этот Стокгольм? — пожимал плечами Владимир Иванович. — Во-первых, там сухой закон.

Тамара и Настя привыкли к белой линии, привыкли следить, как расплывается она в небе, и решили однажды, что этот высокий-высокий самолет летит на Стокгольм, поскольку, по всеобщему убеждению, ближайшим населенным пунктом за морем был Стокгольм. А еще они привыкли строить догадки: кто летит этим рейсом, что разносит на обед белозубая стюардесса, какая музыка тихо наигрывает в динамиках салона.

Это, наверное, очень хорошо: расслабившись в мягком кресле, отстегнув ремни и слушая тихую музыку, глазеть в иллюминатор на стальную поверхность моря, по которой скользит крошечная тень самолета. Хорошо замереть, закрыть глаза и затаить дыхание, когда самолет пойдет на посадку. Хорошо, наверное, выйдя на шумную площадь перед аэропортом, размять ноги и расправить плечи, поймать такси и поехать, глазая по сторонам и вдыхая незнакомые запахи незнакомого города.

Куда поехать и зачем, этого Тамара и Настя никак не могли согласовать. Насте хотелось в кино или на фигурное катание. Обстоятельная Тамара считала, что прежде всего необходимо найти гостиницу, где можно отдохнуть с дороги, легко поужинать и освежиться в сауне и бассейне. Затем следует осмотреть достопримечательности, заскочить на рынок — просто так, из любопытства, — и заглянуть в канцтовары, нет ли там хорошей копирки, после чего, пожалуй, можно и в кино.

В конце концов им становилось стыдно, что догадки их столь однообразны и скучны, что фантазия их столь убога. Устыдившись, Настя думала о своем несовершенстве, а Тамара о том, о чем и вовсе не следовало думать: о работе, которая поджидает ее в Москве.

Как-то Настя прочла и пересказала Тамаре один шведский детектив, очень смешной. Там глупые, неуклюжие полицейские никак не могут поймать грабителей банка, таких же глупых и неуклюжих, которые совсем не заботятся о конспирации и прожигают жизнь в открытую, самым нелепым образом.

А если так, то отчего же, взяв такси и легко поужинав в гостинице, не ограбить какой-нибудь банк? Ну а потом, после всевозможных перипетий (они каждый вечер придумывали новые перипетии), купить катер, завести мотор и на полном ходу рвануть в открытое море: Тамара пытается справиться со штурвалом, а Настя стоит на корме и охапками разбрасывает деньги — радужные купюры разлетаются, как стаи чаек, парят на ветру и падают в волны на глазах у изумленных шведов.

Эта финальная картинка смешила подруг более всего, обретая с каждым вечером в зависимости от настроения все новые штрихи и детали. Владимир Иванович скучал рядом, нехотя слушал, изредка вставлял какое-нибудь замечание или вышучивал подруг.

В конце концов строить догадки и фантазировать надоедало. Белый хвост, став неподвижным, расплзался и таял в небе. Небо темнело, наступал закат.

— Господи, до чего же это далеко, — печально говорила Настя.

— Глупости, — говорил Владимир Иванович. — Это совсем близко: каких-нибудь две-три сотни миль. Все в этом мире ужасно близко: и Стокгольм, и Африка. Так близко, что даже неинтересно. К тому же в Стокгольме сухой закон, а в Африке стреляют почем зря и кому не лень.

— Ну и подумаешь, — говорила Тамара, вставая с холодного песка. — Вы идете с нами ужинать, зануда?

— Стоит ли? — Владимир Иванович похлопывал себя по отросшему животу, потом вздыхал и соглашался.

Бывали вечера, когда в море совсем близко от берега появлялся полосатый парус яхты. Догадок тут строить не пришлось: обладатель яхты поспешил представиться подругам, не успев стать объектом праздных фантазий. Этот свежий могучий парень показался Тамаре и Насте непроходимо тупым. Он был «в порядке» и собой доволен. Он разговаривал короткими пустыми фразами. За каждой фразой следовала многозначительная пауза, после паузы — смех, в котором преобладал звук «ы». И одевался он сообразно тому, как смеялся: плавки, кожаная куртка на голое тело, солнцезащитные очки «макнамара», сползающие на кончик крупного, гордого носа.

Пришвартовав свой корабль к старому рыбацкому пирсу, Эвальд — его звали Эвальдом — сходил по скрипучим доскам на берег и немедленно делал стойку на руках. Мягко спрыгнув на ноги, он подбирал упавшие очки и пружинистой трусцой направлялся к Тамаре и Насте.

— Служба погоды обещает штиль, — сообщал он вместо приветствия. Выдержав паузу, покачав головой, он смеялся и говорил: — Это плохо.

Тамара и Настя не поощряли его к продолжению разговора, Эвальд не настаивал, хотя и выжидал немного, вновь заходиллся счастливым смехом и трусцой возвращался к пирсу. Иногда разбегался и делал сальто. Если трюк не выходил, Эвальд тяжело поднимался с песка, потирал ушибленное место, слишком охал, слишком кряхтел, а потом вдруг срывался и легко, как олень, бежал по берегу.

Владимир Иванович был с ним разговорчивее. Увидев Эвальда впервые, он сразу же поинтересовался, где и за какие деньги можно купить такую бесподобную яхту с таким замечательным полосатым парусом.

— О! — сказал Эвальд. Помолчал, посмеялся и заверил: — Это недешево. — Он опять выдержал паузу. — Это не везде.

Владимир Иванович выяснил также, что отец Эвальда рыбачил в колхозе, пока не вышел на пенсию, то есть пока на месте курортной зоны был колхоз. Уже несколько лет отец ловит в одиночку, а еще у отца есть коптильня. Он коптит балтийского лосося и продает его поштучно отдыхающим в поселке и в пансионатах.

— Неплохие деньги, — пояснил Эвальд. — Потому что вкусно. — Он помолчал, посмеялся и добавил: — И нигде нет.

— Я тоже кое-что, — заявил он после очередной паузы. — Кое-где, кое-что. — Он напрягся, подыскивая еще одно веское слово, и нашел его: — Помаленьку.

Белая точка поплыла над морем, и Владимир Иванович спросил Эвальда:

— На Стокгольм летит?

— Туда, — вздохнул Эвальд.

— Сплаваем в Стокгольм, — пошутил Владимир Иванович, кивнув в сторону пирса, где покачивалась мачта с поникшим парусом.

Эвальд захохотал, сказал:

— Это просто. — И побежал по берегу, высоко поднимая ноги, стремительно и легко.

— Дурак, — сказала Тамара, лежа на спине и следя за тем, как крошится в небе инверсионная линия.

Праздная жизнь, такая упорядоченная и размеренная, какой может быть только праздная жизнь, теряла, казалось, свою опору, свой смысл в те, как правило, дождливые дни, когда приходилось изменять привычному лежанию на пляже, когда привычный Владимир Иванович не приходил — переждал дождь в своем пансионате. В такие дни Тамара старела на глазах, жаловалась на скуку, головную боль и давление, думала о безрадостном, много курила и спала без просыпу. Настя в такие дни тоже много думала, в том числе и о Владимире Ивановиче. Никаких видов на него она, твердо уверовавшая в свое несовершенство, не имела, как, впрочем, и Тамара. Настя бестрепетно думала о Владимире Ивановиче, и в тихих ее мыслях он переставал быть привычкой, «нечто средним», и становился неясностью, загадкой.

Самой скучной была мысль, что там, в Москве, среди снегов и гололеда, Владимир Иванович разведен, бирюк, бобыль и, быть может, ленивый бабник. Эту мысль развить было некуда, оттого она и была скучна.

А если он женат? А если у него дети? У него должны быть уже взрослые дети. Грустнее всего, если у него нет детей, но он их очень хочет, в чем — такой скрытный, такой ироничный — не может признаться жене. И жена, наверное, под стать ему: скрытная, ироничная, таящая за маской умного легкомыслия самую женскую, самую музыкальную мечту.

Так живут они и живут, лишённые благодати, забыв о том, что в юности хотели счастья.

Но есть в мире справедливость, потому что мир совершенен. И в один внезапный вечер — о, как любила Настя представлять этот вечер во всем его свечении, во всех тенях, полутонах и шорохах — они откроются себе и друг другу. «Здравствуй!» — скажет Владимир Иванович жене, как будто увидев ее впервые. «Здравствуй!» — скажет жена Владимиру Ивановичу, радуясь и страшась того, что последует за этим «здравствуй», за обоюдным неожиданным прозрением. И народятся у Владимира Ивановича дети. Сначала один ребенок, а там — как Бог даст. Но даже и один ребенок сразу же потребует свое, он будет многого требовать, особенно на первых порах. А что могут неумелые руки жены Владимира Ивановича? А что может неловкий Владимир Иванович? «Как мы беспомощны!» — горько скажет жена Владимира Ивановича. «Как я недогадлив!» — спохватится Владимир Иванович, вспомнив о Насте. Он ведь знал, что она нянька — эта тихая женщина из мира пляжных прогулок и пирогов с малиной.

Настя замирала, суеверно боясь придумывать дальнейшее. Она слушала теплое посапывание Тамары. Она слушала дождь, который мягко бил по стеклу, подпевая ее мыслям или, наоборот, подшучивая над ними.

Засыпала, но дождь не уходил, звучал в ней, охраняя сон от кошмаров.

\* \* \*

Дождь кончился рано, до обеда, но пляж пришлось отменить: так мокро было все вокруг — не ступить, не улечься. Подруги настроились на хандру. Однако Владимир Иванович не смог смириться с одиночеством в своей курортной зоне и — озябший, с промокшими ногами — явился без приглашения прямо в сад. Отогревшись, он расположился в складном кресле напротив Тамары и с удовольствием следил за тем, как неразговорчивая Настя собирает мокрую малину для пирога.

Владимиру Ивановичу было свойственно переносить свое настроение на предметы. Будь ему плохо, уныло, он наверняка говорил бы о том, как этот сад мал, беден и неухожен. Но ему было хорошо, и он вслух мечтал о несбыточном — уподобиться полковнику в отставке и прожить остаток жизни в этом уютном, поистине райском саду. Тамара не соглашалась. Райский сад, говорила она, он

огромный, как само небо, а этот дачный клочок хоть и мил, но все же не стоит столь громких эпитетов и восторгов. Настя молча сердилась на подругу. Она, подобно Владимиру Ивановичу, считала сад поистине райским, но сердилась больше оттого, что Тамара, не меньше ее влюбленная в сад, лукавит и скромничает, как если бы сад принадлежал ей.

Владимир Иванович вытягивал короткие ноги и морщился. С чего мы взяли, говорил он, да и кто это выдумал, что рай огромен? Отчего ему быть огромным? Миллиарды лет существует планета, миллионы лет копошатся на ней, сменяя друг друга, цивилизации и поколения, но за все это время, которое немногим короче вечности, едва ли набралось на земле столько праведников, чтобы было целесообразным разбить для них хотя бы две-три сотки небесной земли.

— Ну знаете ли! — возмущалась Тамара.

— Знаю, знаю, — кивал Владимир Иванович. — И дело даже не в том, что человек не праведник. Дело в том, что праведник — не человек. Так, нечто среднее между инфузорией и вымыслом.

— Я, быть может, и не праведница, — пожимала плечами Тамара. — Грешить мне, правда, некогда, но иногда хочется погрешить, потому и не праведница. Но поглядите на Настю. Поглядите и застрелитесь. Она — самый настоящий праведник и никакое не «нечто среднее».

— Хочется, ну и грешите, — говорил Владимир Иванович, мельком оглядывая Настю, а Настя стыдилась, обижалась на Тамару и опускала глаза в таз с малиной.

— А чего же вы не грешите? — улыбалась Тамара.

— Я свое отгрешил, — смеялся Владимир Иванович. — Так отгрешил, что уже неинтересно.

— Вам, может быть, и жить неинтересно? — улыбалась Тамара.

— Может быть.

— Да, — вздыхала Тамара, полузакрыв глаза. — В этой жизни нет никаких плюсов.

— Есть один, — говорил Владимир Иванович. — Живым быть лучше, чем мертвым. Потому что там, — он, морщась, глядел на небо, — нет никакого райского сада, даже маленького. Ничего нет. А здесь. Здесь, по крайней мере, пирог с малиной. Как, Настя, не подгорит?

Настя не отвечала, глотая обиду. И не за пирог она обиделась, который у нее никогда не подгорал. Ее обидел весь этот праздный, ленивый разговор. За живую ли жизнь

стало ей обидно, за этот ли мир, такой совершенный, — она не знала.

Понимала, что глупо обижаться на пустые слова, тем более что Тамара явно кокетничает, а Владимир Иванович, наверное, много страдал, оттого и позволяет себе говорить такое. Его пожалеть надо, а не обижаться. Но обида разрасталась и зрела.

Настя решила вступить в разговор, перевести его на что-нибудь легкое, и она ляпнула первое, что пришло в голову: какую-то отчаянную глупость.

Тамара удивленно взглянула на нее и отвернулась, а Владимир Иванович — тот даже не взглянул. Уютно подобрал под себя ноги и откинул голову на спинку кресла.

Разговор тем не менее оборвался. Они молчали, не зная, о чем еще говорить, или не желая говорить в ее присутствии. И тогда Настя, как ей вдруг показалось, разгадала свою обиду. Это тягостное для нее молчание, так похожее на упрек, подсказало ей мысль о том, что она, Настя, третий лишний, что Тамара и Владимир Иванович — это одно, а она — совсем другое. Она даже не попыталась усомниться в своем открытии. И уже за столом, воровато наблюдая, как сосредоточенно ест Владимир Иванович, как рассеянно держит вилку Тамара, Настя удивлялась: отчего самое естественное и простое до сих пор не приходило ей в голову? Ну почему, в самом деле, Владимир Иванович должен одинаково относиться и к ней и к Тамаре? Ведь она такая несовершенная, а Тамара...

Владимир Иванович похвалил пирог с малиной, Тамара поспешно поддакнула: это они вместе похвалили ее пирог. Это совсем не то, если бы Владимир Иванович как гость похвалил их общий пирог.

— Сбегаю за продуктами, — сказала Настя после ужина.

— Сбегай, сбегай, — сказала Тамара. — И купи мне сигарет.

— А мне папирос, — присоединился Владимир Иванович, панибратски подмигнув.

Настя купила молоко, творог, два десятка яиц. Купила сигареты и папиросы. Себе взяла триста граммов карамели: когда она грызла карамель, ей лучше думалось. Новая, неожиданная мысль настолько захватила ее, что она не торопилась возвращаться в сад: надо было послоняться в одиночестве, привыкнуть к этой мысли, настолько привыкнуть, чтобы она не пугала и не раздражала, а,

напротив, стала любимой и радостной. Настя грызла карамель и растила в себе радость.

Пусть скорее и без мук произойдет то, что должно произойти. Пусть не будет больше райского сада для двоих. Она, Настя, рада, что оказалась сопричастной началу той новой жизни, что настает у Тамары и Владимира Ивановича. Владимир Иванович такой изверившийся, такой бесприютный. Тамара такая замотанная, такая одинокая. Они такие беспокойные оба. Пусть они скорее успокоятся друг с другом, пусть они будут счастливы, пусть у них это получится, а она, Настя, будет тихо радоваться за них, приходить в гости, печь пирог с малиной и вспоминать лето, мелкое море, белую линию в небе, неухоженный райский сад.

Стемнело, и Настя, легкая и притихшая, вернулась в сад.

Завидев ее, Владимир Иванович неуклюже вскочил с кресла, прокашлялся, сказал:

— Боюсь, что мне пора. Обленился, засиделся. — И ушел, забыв про папиросы, обронив на прощание: — Не шалите тут без меня.

Тамара небрежно приняла у нее авоську с продуктами и прошла в дом, бросив через плечо:

— Молоко не скисло? Где ты шлялась? — Она раздраженно хлопнула дверь, оставив Настю одну на крыльце.

Ложась спать, Настя ощутила холод. Окно было закрыто, ночь тепла, но Настя зябла. Она сворачивалась калачиком, грела дыханием тьму под одеялом и не согревалась. Жидкая луна текла сквозь занавески и вдруг пропала, скрытая ночными облаками. Предчувствуя бессонницу, Настя слушала шаги Тамары за стеной и боялась, что Тамара войдет, включит свет и посмотрит ей прямо в глаза. Потом она стала бояться утра, когда станет светло и они с Тамарой окажутся лицом к лицу.

Радость исчезла, она не успела окрепнуть, бегство Владимира Ивановича и неприкрытое раздражение Тамары оказались сильнее ее. То, о чем так хорошо думалось в одиночестве, казалось невысказанным обнаружить в присутствии Тамары. Страшно будет глядеть на нее новыми глазами, когда некуда спрятать глаза.

Шаги за стеной стихли. Послышался щелчок: Тамара зачем-то включила настольную лампу. Настя затаила дыхание, почувствовав себя вором, проникшим в чужой дом.



А Тамара, включив настольную лампу, поморщилась от яркого света и головной боли, донимавшей ее весь день, и принялась сочинять письмо в Ленинград. Полковник требовал, чтобы хоть раз за все лето она извещала его о том, что дом не сгорел, стекла не вылетели, посуда не перебита, крыша не прохудилась, сад не зачах и воры не растащили инвентарь.

Разумнее было бы улежся спать, забыться, унять головную боль, но Тамара знала, что днем до письма не дойдут руки, и не потому, что будут заняты, — просто будет лень. А еще Тамара была уверена, что раздражение, вызванное головной болью и нелепо истраченным днем, так просто не уляжется и бессонница обеспечена. Надо было дать перекипеть раздражению, отвлечься — хотя бы на такую ерунду, как письмо: механическая дань уважения человеку, который безразличен, но все же не заслуживает безразличия.

За стеной было тихо, Настя, как видно, уснула. Плохо. Плохо, что не извинилась перед нею за грубый тон — к ней он не относился, да что поделаешь: головная боль, долгое, утомительное сидение в саду и столь же долгий, утомительный разговор с этим Владимиром Ивановичем — все это вскипело и выплеснулось на бедную Настю. Не стоило поддаваться привычке, выработанной в общении с московскими клиентами, быть или стараться быть на уровне разговора. Надо было свести на нет эту никчемную болтовню. Куда там! — поддакивала, подлаживалась, подпевала, вздыхала, прикрывала веки, как будто хотела понравиться. «В этой жизни нет никаких плюсов» — неужели она так сказала? Что за ерундовина. Мало ли что несет этот плешивый циник. Поддакивала, мучаясь давлением и головной болью, вместо того чтобы гнать его в шею; что за бестактность, в конце концов, торчать весь день у полужнакомых женщин! Так ведь не прогнала и еще разозлилась, когда Настя влезла в разговор с какой-то глупостью! Для того и влезла, чтобы ей помочь, чтобы этот болтун наконец заткнулся. Настя — чудо, тихое чудо, тихо все понимает.

Тамара заклеила конверт, погасила свет и легла. Засыпая, она услышала шорох и стук за стеной. «Не спит. Спи, милая, спи», — подумала Тамара и заснула с улыбкой.

Ей приснилось, что кто-то плачет в саду.

Отплакавшись, Настя стала зла и спокойна.

Стремительно и без боязни шла она по поселку, который в этот час был не поселком, но вязкой тьмою, наполненной сонными разрозненными звуками. Будь этот мир справедлив, ее просто не существовало бы в жизни Тамары, жила бы Тамара одна в райском саду, не зная никаких вздорных проблем. Но так устроен мир, что одним выпадает жить, а другим — мешать жить. Она, Настя, из тех, что всем мешают — уже потому, что живут сами. Так уж ей выпало.

О, она понимает теперь, отчего так много несчастных в этом совершенном мире! На пути тех, кто достоин счастья, на пути тех, кто способен к счастью, встают такие, как она, Настя, — увиваются, присасываются, вяжут по рукам и ногам. Разве не из-за нее ничего до сих пор не решилось у Владимира Ивановича и Тамары? Порадоваться за них хотела, пирогами поублажать. Радуйся на здоровье, меси свое тесто, но где-нибудь подальше, в своей норе, и не лезь ни к кому со своей радостью. Не радость твоя им нужна, им нужно, чтобы тебя вообще не было.

Не понимают они этого, но зато она, Настя, понимает. А пока она есть, пока она рядом — ничего и никогда у них не будет, кроме тоски и неловкости.

Воздух посвежел, тьма подтаяла, проступили очертания окраинных заборов и сосен. Ноги вязли в песке, близилось море.

О, теперь она все понимает. Таким, как она, вообще нет места среди людей. Такие, как она, со всеми приживутся и все разрушат. Люди не догадываются об этом, они добры, лишь раздражаются по мелочам, стыдась своего раздражения. Им бы не раздражаться, а сразу гнать.

Настя провела по лицу ладонью. Слез нет — это ветер щиплет глаза.

Все ей подобные должны быть мудры и сами уходить, селиться в резервациях, лепрозориях, изоляторах, каждый в своей клетке, в своем загоне, и не подпускать к себе людей, потому что люди слабы и, на свою беду, обладают способностью сочувствовать. Все зло начинается с этого сочувствия. Слишком сочувствуют ей все вокруг и оттого не могут жить счастливо.

Море, дохнув в лицо, преградило ей путь. Настя села на холодный песок и ослабела.

Как несправедливо все устроено. Живешь, как воробей, клюешь эту жизнь по крошечке, живешь бесплотно, как тень. Так почему же об тебя спотыкаются? Бедный Владимир Иванович, как муторно ему трястись по вечерам в электричке,

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)